

Мартин Бубер. Два образа веры

16

Эпохи христианской истории можно классифицировать на основании того, насколько в них господствовал паулинизм; под понятием "паулинизм" подразумевается, естественно, не просто направление мысли, но образы видения и бытия, внутренне присущие самой жизни. В этом смысле наш век - век паулинизма по преимуществу. Хотя в целокупном существовании нашей эпохи христианство отступило в сравнении с прежними эпохами, однако паулинистские воззрения, отношения и настроения завладевают отныне также и многими сферами жизни, находящимися вне христианства. Существует некий паулинизм неспасенности, паулинизм, в котором нет постоянного места для милости: мир переживается так, как его переживал Павел - преданным во власть неумолимых сил, только при этом отсутствует явленная человеку спасающая воля, нисходящая свыше, отсутствует Христос. Христианский паулинизм нашего времени - плод подобного же основополагающего созерцания, хотя он и смягчает или исключает аспект демонического мироправления. Однако он видит бытие здесь-и-теперь разделенным на неограниченную власть гнева и сферу примирения, откуда хотя и поднимаются достаточно ясные и энергичные притязания на установление христианского строя жизни, но фактически неспасенному человеческому миру противостоит спасенная человеческая душа в возвышенном бессилии. Оба эти образа: образ бездны, края которой соединены одним лишь ореолом Спасителя, и образ подобной же бездны, отныне покрытой только лишь непроницаемым мраком, не следует понимать, исходя из переменчивости человеческой субъективности. Чтобы представить их, нужно было возбудить сетчатку глаз людей, живущих сегодняшней реальностью, ситуацией этого момента жизни мира.

Я хочу пояснить мою мысль на примере двух книг весьма различного рода, ибо видение, о котором я говорю, наглядно в них раскрывается. Одну книгу я выбрал из числа сочинений в области современной христианской теологии, потому что не знаю в этой области никакой другой работы, где бы о Боге говорилось столь прямо в духе Павла; это книга Эмиля Бруннера "Посредник". Другая книга, одна из немногих подлинных притч, порожденных нашей эпохой, - произведение нехристианского поэта, еврея Франца Кафки, - роман "Замок".

В отношении книги Бруннера я собираюсь коснуться только того, что она может сказать о Боге, но не о Христе, и, стало быть, коснуться тусклого фона, а не образа славы, который выделяется на нем. Мы читаем: "Бог не может позволить посягнуть на Его славу"; "сам закон требует божественной реакции на такое посягательство"; "Бог перестал бы быть Богом, если бы позволил посягнуть на Свою славу". Это говорится об Отце Христа; стало быть, имеется в виду не один из богов и властителей, но Тот, о Ком свидетельствует "Ветхий Завет". Однако ни в самом Ветхом Завете, ни в какой-либо его еврейской интерпретации не говорится так об этом Боге; даже в устах Иисуса, насколько, полагаю, я знаю его, такие речи непредставимы. Ибо здесь, поистине, - "у Бога все возможно"; нет ничего, чего бы Он "не мог". Господа мира сего не

могут, разумеется, допустить посягательств на свою славу, - что осталось бы у них, поступи они так! Но Бог! - конечно же пророки и псалмопевцы возвещают о том, как Он "прославляет Свое имя" в мире, а Писание полно Его "рвения" к установлению своей славы, однако Сам Он не входит ни во что из этого так, чтобы осталось нечто, превосходящее Его. На языке толкования это значит: Бог переходит от одной мидды к другой и ни одной не довольствуется. И разорви весь мир одеяние Его славы на лоскутья, с Ним Самим ничего не случилось бы. Какой закон может позволить себе отважиться нечто потребовать от Него, - ведь это все же высочайший мыслимый закон, данный Им миру, не Самому Себе(126): Он не связывает Себя, и потому ничто не связывает Его. А что касается того, что Бог перестал бы быть Богом, - "Бог" есть лепет мира, человеческого мира. Сам же Он неизмеримо больше, чем "Бог", и, если бы мир перестал лепетать или прекратил существовать, Бог остался бы С собой. Его ярость и нежность мы переживаем непосредственно как одно; никакое суждение не в состоянии оторвать одно от другого и превратить Его в Бога гнева, требующего посредника. В книге Мудрости, написанной, вероятно, не позднее 100 г. до Р.Х., к Богу обращаются так: "Но Ты всех жалеешь, ибо все Тебе возможно"; "Ему даже и это возможно: жалеть нас, каковы мы есть!"; "и закрываешь глаза на грехи людей ради их возвращения". Он закрывает на них глаза, чтобы мы не оказались в преисподней, но вернулись к Нему; Он отнюдь не собирается ожидать, пока мы вернемся (здесь имеется замечательное противопоставление синоптическому обозначению проповеди Иоанна Крестителя: не возвращение для прощения, но прощение для возвращения). "...Ибо любишь Ты всякое существо и не отвращаешься ни от одного из тех, кого сотворил", - ясно, что здесь творение считается гораздо более важным, чем грехопадение. "...Ты же щадишь все, потому что все - Твое, о Господь, благоволяющий живому, ибо во всем - Твой беспорочный Дух". Создается впечатление, будто автор этой книги выступает здесь против распространенного в Александрии учения о еврейском Боге гнева.

Известен вклад Кафки в метафизику "двери": притча о человеке, который проводит свою жизнь перед открытыми воротами, ведущими в мир смысла. Он тщетно просит о разрешении войти в эти ворота, покуда перед самой смертью ему не сообщают, что ворота эти были предназначены для него одного и теперь закрываются. Итак, дверь все еще открыта. Для каждого человека есть своя собственная дверь, и она открыта ему. Но он не знает этого и, по-видимому, узнать не в состоянии. Оба главных произведения Кафки разрабатывают этот притчевый мотив; одно из них, "Процесс", - во временном измерении, другое, "Замок", - в пространственном. Соответственно первое произведение имеет дело с безысходностью в отношениях человека со своей душой, второе - с безысходностью в его отношениях с миром. Сама притча - не в духе Павла, разработки же ее имеют паулинистский характер, только избавление, как уже было сказано, здесь отсутствует. Первое произведение рассказывает о суде, которому подпадает душа и отдается ему охотно. Однако вина, за которую душа должна быть осуждена, не формулируется, судебная процедура подобна лабиринту, а сами судебные инстанции сомнительны. Но все это не ставит под вопрос правомерность судопроизводства. Другая книга, имеющая для нас здесь особый интерес, описывает - как будто это наш мир - некую местность, отданную всевластию безответственной бюрократии. Что происходит в правящих верхах

или, скорее, выше их - остается покрытым мраком, о сути событий человек не имеет ни малейшей возможности догадаться; административная иерархия, осуществляющая власть, получила ее свыше, но, по-видимому, без задач и предписаний. Безгранично царит всеохватная бессмыслица, каждое сообщение, каждый поступок пропитаны ею, но законность ее господства остается вне сомнений. Человек вызывается в этот мир, получает свое призвание, но, куда бы он ни повернулся, чтобы исполнить свое призвание, он оказывается в густом облаке абсурда. Этот мир погружен в хаос промежуточных существ – это паулинистский мир, только Бог удален и пребывает в непроницаемом затмении, и для Посредника нет места. Стоит вспомнить об агаде (Аггадат Брешит IX), рассказывающей о грешном Давиде, который просит Бога о том, чтобы Он Сам судил его, а не отдавал его в руки серафимов и херувимов, ибо "все они люты". Люты также и промежуточные существа Кафки, но вдобавок ко всему они еще разнузданны и бездарны. Они весьма искусно все портят и коверкают, выполняя волю судьбы, влекут человеческие существа сквозь абсурд жизни- и делают они это властью своего господина. Определенные черты их напоминают нам распутных демонов, которыми стали в отдельных гностических течениях архонты (властители) паулинистской картины мира.

Силу паулинистских тенденций в христианской теологии нашего времени можно объяснить, исходя из печати, которой отмечено наше время. Точно так же особенностями более ранних эпох можно объяснить, почему вперед выходили в одном случае паулинистские, в другом - чисто спиритуалистские (иоанновские) тенденции, а в третьем случае - тенденции так называемого петринизма, где не слишком определенное понятие "Петр" используется для обозначения незабываемого воспоминания о беседах Иисуса с учениками в Галилее. Паулинистскими оказываются те эпохи, в которых противоречия человеческой жизни, в особенности противоречия совместной жизни людей, столь усиливаются, что в историческом сознании они обретают характер злого рока. Тогда кажется, что божественный свет затмился, и спасенная христианская душа постигает (как это всегда сознавала неспасенная еврейская душа) все еще осязаемую неспасенность человеческого мира во всем ее ужасе. Разумеется, тогда истинный христианин, как мы знаем это благодаря Павлу, борется за более справедливый строй своего сообщества, но он понимает при взгляде на нависшие тучи гнева ядра противоречия и цепляется с паулинистским упорством за полноту милости посредника. Конечно, он оказывает сопротивление постоянно нависающей маркионитской опасности, то есть противится разрыву не просто между Ветхим и Новым Заветами, но между творением и избавлением, Творцом и Избавителем, ибо он видит, сколь близок уже человек к тому, чтобы, по словам говорящего о гносисе Кьеркегора, "отожествить творение и грехопадение", и знает, что торжество Маркиона может привести к закату христианского мира. Однако, как мне кажется, сейчас сам христианский мир все яснее понимает, что с помощью Павла невозможно одолеть Маркиона.

То, что в христианстве есть и непаулинистская точка зрения, превосходящая ту печать, которой отмечена наша эпоха, было уже столетие назад выражено Кьеркегором, когда тот записал в своем дневнике молитву, где говорится: "Отец небесный, - поистине, этот момент - лишь миг тишины во внутреннем существе беседы одного с другим". Хотя это и высказано из глубины личностной экзистенции ("когда человек изнемогает в пустыне, он не слышит

Твой голос"), здесь нельзя отделить ситуацию этой личности и ситуацию человека от ситуации человечества. Молитва Кьеркегора, несмотря на его великую веру во Христа, не паулинистская или иоанновская, но Иисусова.

Что же касается Кафки, то какой-нибудь легкомысленный, скорый на расправу христианин с легкостью может покончить с ним, попросту заявив о его неспасенности, объявив его евреем, не стремящимся к спасению. Но покончено-то только с тем, кто так к нему отнесся, Кафка же остался незатронутым таким обращением. Ибо еврей, в той мере, в какой он не разобщен с первоисточником своей сути, даже такой открытый всем нападкам еврей, как Кафка, все равно защищен от них. С ним все случается, но от этого с ним ничего не может случиться. Конечно, он не может больше таиться "под кровом крыл Твоих" (Пс 61:5), ибо от времени, в которое он живет, и поэтому от него, сына этого времени, наиболее открытого нападкам, Бог Себя утаил. Но Кафка защищен самой этой потаенностью Бога, о которой он знает. "Лучше живой журавль в небе, нежели полумертвая, судорожно обороняющаяся синица в руках". Кафка описывает, исходя из глубочайшего познания, мир обыденности, он описывает наиточнейшим образом господство ленивого демонизма, которое наполняет передний план жизни, а на полях дневника он царапает: "Проверь себя, - человечен ли ты? Сомневающегося человечность заставляет сомневаться, верующего - верить". Невысказываемая, но вечно присутствующая тема Кафки - удаленность Судии, удаленность властелина Замка, потаенность, помраченность, затмение. И именно поэтому Кафка замечает: "Кто верит, не может испытать ни одного чуда. Днем нельзя увидеть звезд". Так возникает защищенность еврея в затмении, отличная по существу от защищенности христианина. Эта защищенность не обещает покоя, ибо жить, покуда живешь, ты должен с синицей, а не с журавлем, не дающим тебе в руки. Однако эта лишенная иллюзий защищенность согласуется с ходом вещей на переднем плане мира, и поэтому ничто не может тебе повредить. Ибо из потусторонности, из тьмы небес, где ничто не напоминает о непосредственности отношения к Богу, приходит темный луч и попадает в сердце. "Мы были сотворены, чтобы жить в раю, рай был предназначен служить нам. Наше предназначение изменено; о том, чтобы такое случилось также и с предназначениемрая, - не сказано". Так тихо и робко выглядывает антипаулинизм из этого паулинистского поэта, описывающего передний план ада: рай все еще здесь и служит нам. Рай существует, то есть он присутствует и здесь, где темный луч достигает измученного сердца. Нуждаются ли неспасенные в спасении? Они страдают от неспасенности мира. "Все страдания вокруг нас мы также должны претерпеть", - и вот опять оно, слово из лона Израиля. Неспасенная душа отказывается отдать за собственное спасение реальность неспасенного мира, в котором она страдает. Она способна отказаться, ибо она защищена.

Вот облик паулинизма без Христа, - паулинизма, проникшего в еврейство сейчас, в эпоху величайшей потаенности Бога. Следовательно, это облик паулинизма, направленного против Павла. Еще мрачнее, чем прежде, живописуется ход событий в мире. И все же снова, с еще более углубившимся "несмотря на все это", совсем тихо и робко, однако недвусмысленно возвещается эмуна. Здесь, среди паулинистского царства, эмуна становится на место пистис. При всей своей сдержанности этот затерявшийся в помраченном мире поздний ребенок все же ясно исповедует (вместе с вестниками из

Второисаии) перед страдающими народами мира: "Истинно, Ты - Бог сокрытый, Бог Израилев, Спаситель" (Ис. 45:15). Именно так в час затмения Бога должна измениться эмуна, чтобы сохранить постоянство в верности Богу, не отрекаясь при этом от мира. То, что Бог сокрыт, не умаляет непосредственности; Он остается Спасителем в непосредственности, а противоречие бытия превращается для нас в теофанию.

126 Бруннер объясняет: "Закон Его бытия как Бога, на котором покоится всякая законосообразность мира, основополагающий порядок мира, логичность и надежность всего происходящего, действительность всех норм..." Именно это и представляется мне недопустимым выведением сущности мира из сущности Бога или, более того, наоборот: сущности Бога из сущности мира. Порядок и норма проистекают из деяния Бога, дающего миру бытие и закон, а не из закона определяющего собственное бытие Бога.